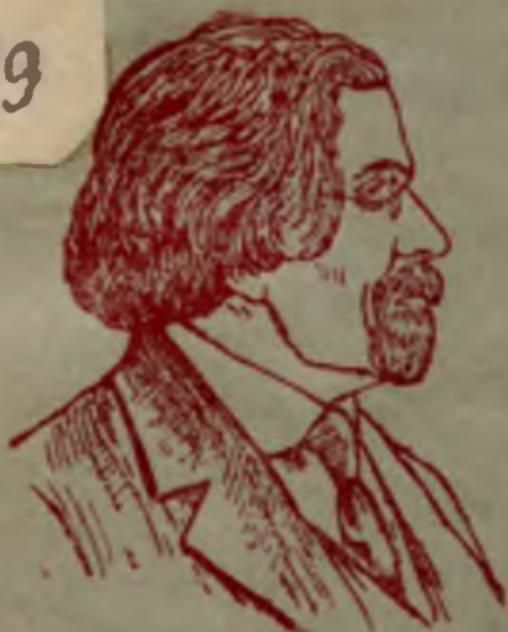


Ш 78

Р 30/29



ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

ГИМНАЗИЯ

ОГИЗ

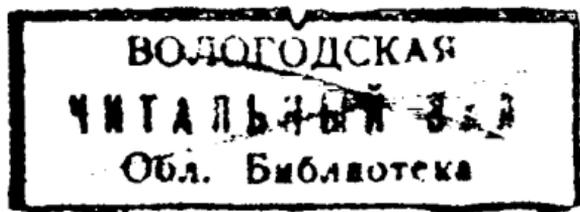
Государственное издательство «ДЕР ЭМЕС»
Москва, 1942



ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

ГИМНАЗИЯ

Из серии рассказов
„Записки коммивояжера“



ОГИЗ
Государственное издательство „Дер Эмес“
Москва 1942

30/29.

К ЧИТАТЕЛЯМ

(Из предисловия автора)

Я — вояжер. Почти одиннадцать месяцев в году я в дороге. Еду большей частью по железной дороге, почти всегда третьим классом, и само собой понятно, по еврейским городам и местечкам, потому что где евреям жить запрещено, мне делать нечего.

Чего только не увидишь в пути!

...Мне, как вояжеру, часто приходится сидеть в вагоне целыми днями, даже пальцем о палец не ударив, хоть головой об стенку бейся! Вот мне и пришла хорошая мысль в голову: я купил чистенькую записную книжку с карандашом и стал записывать все, что приходится слышать и видеть в пути. И таким образом, у меня, как видите, собралась изрядная куча материала. Хватит на целый год чтения.

Я стал размышлять: что мне делать со всем этим добром? Выбросить? — Жалко. По-

чему бы не издать их книжкой или напечатать в газете?

Право же, иногда печатаются и гораздо худшие вещи...

Спросите: зачем мне понадобилась вся эта затея? Право, не знаю. Очень возможно, что это глупость с моей стороны. Но дело сделано, пропало...

Коммивояжер.

ГИМНАЗИЯ

Зима. В вагоне напротив меня сидит человек средних лет. Рыжеватая бородка серебрилась проседью. Бобровая шуба несколько поношена.

Разговорились...

— Самый заклятый враг, знаете, — говорит он, — не сделает вам того, что вы сами можете себе сделать! Особенно, если в дело вмешается женщина, жена то-есть... О ком я говорю? О себе самом. Если взглянуть на меня со стороны, казалось бы, — еврей, как еврей, среднего достатка, на лбу у меня не написано, имею ли я деньги, не имею ли... Возможно, в свое время у меня водились деньги, и не малые... Но не в одних только деньгах дело, деньги — ерунда! Постоянный заработок, да верный к тому-же — вот в чем суть. И чтобы все было тихо, спокойно, без треска и шума... Нет, я за тишину и спокойствие. Тихо и спокойно я торговал, объявлял себя несколько раз банкротом, тихо, спокойно улаживал свои дела с кредиторами, а потом снова начинал

торговать помаленечку. Однако, господь на небе не дремлет: и вот — благословил он меня супругой.. Ее здесь нет и, стало быть, можно говорить откровенно. Жена, собственно, как все жены. На первый взгляд — даже очень ничего: раза два крупнее меня, недурна собой, красавица, можно сказать! И не глупа, умна, собственно говоря, даже очень умна: мужская голова на плечах... И вот в этом, знаете ли, вся беда! Горе-горькое!

Но что из этого? Будь она трижды умна, все-же господь бог создал раньше Адама, а уж потом только — Еву...

Но у моёй жены на этот счет особое мнение:

— То, что бог создал раньше вас, а потом нас, — это его дело. Но в том, что он, по милости своей, вложил мне в пятку больше ума, нежели тебе в голову, — в этом, знаешь ли, я совсем не виновата!..

— Это ты, — спрашиваю я, — к чему говоришь?

— А к тому и говорю, что обо всем должна думать я. Даже о том, чтобы сына в гимназию определить, у меня голова должна сохнуть!

— А где это, собственно, сказано, что сына обязательно нужно определять в гимназию? С меня хватит, если он всю эту премудрость одолеет дома.

— Я тебе уже тысячу раз говорила, — отвечает она, — что тебе не удастся уговорить меня жить наперекор всему свету! Нынче такая мода: дети должны обучаться в гимназии!

— По моему разумению, — говорю, — твой свет попросту с ума спятил!

— Только ты один в своем уме. Если бы весь свет жил по твоему разумению, — отвечает она, — воображаю, какой бы он имел вид!

— Каждый поступает по своему разумению...

— Дай бог, — говорит она, — моим врагам и врагам моих друзей иметь столько в кармане, в сундуке и в шкафу, сколько у тебя этого самого «разумения» в голове!

— Горе, — отвечаю я, — тому мужчине, о котором судит женщина!

— Горе, — огрызается она, — женщине, имеющей мужа, о котором она должна судить!

Вот и столкнитесь с женой! Вы ей про Авраама, а она вам в ответ—про Адама. Скажешь ей слово, а она вам в ответ—десять. Попробуйте отмолчаться, — она вам закатит истерику... А не то возьмет и шлепнется в обморок!.. Тут уж я вам вовсе не завидую!.. Словом, вы же понимаете, что в конце концов поставила на своем она! Давайте говорить откровенно: если она чего-нибудь захочет, — так уж тут ничего не поделаешь!

И пошла канитель: — гимназия! Нужно,

стало быть, готовить мальчишку к поступлению в «младший приготовительный»! Шутка ли, «младший приготовительный»! Мне кажется, любой мальчишка в хедере всех их за пояс заткнет. А уж мой — тем более. Всю империю изъездишь — такого не найдешь! Конечно, я отец. Но уверяю вас, что у мальчика на плечах голова — единственная на весь мир. Чего вам более — он пошел, держал экзамен и... не выдержал. В чем дело? Получил двойку по арифметике. Слабоват, — говорят они, — в счете, в математике то-есть.

Ну, как вам это нравится? У парнишки, можно сказать, голова — одна на всю империю, а они мне толкуют про математику.

Короче говоря, он не выдержал!

Досадно, конечно! Уж если пошел держать, — пускай бы выдержал. Но ведь я мужчина, а не баба, вот я и решил: «ко всем чертям! Подумаешь, беда какая! Нам не привыкать»...

Но подите поговорите с моей женой, когда она вбила себе в голову: «гимназия!» и ничего знать не хочет.

— Скажи мне, — пробую я убедить ее, — голубушка, на какого чорта это мне нужно? Призыва ему бояться нечего: единственный сын, для заработка ему гимназия нужна, как собаке пятая нога: с меня достаточно, если он будет таким же лавочником, как я, или таким

же купцом, как другие. А ежели ему, не дай бог, суждено быть богачом или банкиром, — я тоже плакать не стану!

Но — говорите стене!

— Пожалуй, даже лучше, — говорит она, — что он не попал в младший приготовительный...

— Почему?

— Так! — отвечает она. — Сразу попадет в старший приготовительный...

Ладно! Пусть будет «старший приготовительный». Подумаешь, дело какое, когда у мальчугана голова — одна на всю империю.

Чем же это кончилось? дошло до дела — снова двойка! Правда, на этот раз не за математику... Новая беда: правописание хромает... То есть, пишет он, вообще, правильно, но на одну букву прихрамывает: на букву «ять». То есть, букву-то эту он ставит. Почему не ставить? Да только, говорят они, не там, где нужно...

Ну, а мне-то что до этого? В Полтаву или в Лодзь на ярмарку не сумею спокойно ездить, если мой сын ставит букву «ять» не там, где им нравится?..

Но жена моя, когда нам сообщили эту радостную весть, стала, что называется, носом землю рыть: бегала к директору, уговаривала, клялась, что мальчик знает, умеет, может... Пусть его вызовут, пусть переэкзаменуют еще

раз... Но кто ее станет слушать? Поставили двойку, да еще какую двойку — с минусом! И делай, что хочешь!

Шум, крик:

— Помилуйте! Опять срезался!

— Ну, что же делать? — говорю я. — Жизни, что ли, решиться по этому случаю? Нам не привыкать...

Тогда она начинает горячиться, проклинать, ругаться, как это водится у «них». Но уж это куда ни шло! Его жалко! Малыша! Прямо душа болит! Такое несчастье! Все наденут мундирчики с блестящими пуговицами, а он — нет...

— Глупенький! — толкую я ему. — Дурачок, чего ты огорчаешься? Разве могут все на свете учиться в гимназии? Должен же кто-нибудь и дома оставаться! Как, скажем, во время призыва...

Тут уж налетает на меня жена:

— Утешитель нашелся! Кто тебя просит утешать мальчика такими умными словами? Ты бы лучше поискал для него хорошего учителя, специально по русскому языку, по грамматике...

Понимаете? Значит, я должен держать уже двух учителей! Одного учителя, не считая мелаameda, мало! Словом, поставила на своем, конечно, она, а не я. Если ей так захотелось, так уж так тому и быть...

Взяли учителя, русского (не еврея, упаси бог, а настоящего русского), потому что грамматика, понимаете ли, для первого класса — это горше хрена! Шутка ли, грамматика! Буква «ять»! Чего только не натерпелись мы от этого богоданного учителя! Даже рассказывать совестно. Посмотрели бы вы, как он измывался над нами. Смеялся прямо в глаза. Например, когда нужно было учить эту несчастную грамматику, он ничего, кроме чеснока, выцарапать не мог: «чеснок», «чеснока», «чесноку», «чеснокою»... Пропади он пропадом!

Если бы не жена, взял бы я этого учителя за шиворот да вышвырнул за двери ко всем чертям вместе с его замечательной грамматикой.

Но ей все нипочем! Шутка ли, какое счастье: мальчик будет знать, где нужно ставить «ять» и где не нужно.

Измучили мальчишку за зиму, а весной снова повели на закланье. На сей раз он принес уже не двойку, а пятерку и четверку. Радость! Счастье! Поздравляю! Поздравляю? Погодите поздравлять. Еще неизвестно принят ли он: это будет известно только в августе. Почему не сейчас? Подите, спросите их. Но что поделаешь? Нам не привыкать...

Вот и август. Вижу — моя места себе не находит: бегаёт от инспектора к директору, от директора к инспектору...

— В чем дело? Чего ты носишься, как за-
травленная мышь?..

— То-есть, как это «чего»? Ты что — с лу-
ны свалился? Не знаешь, что по нынешним
временам творится в гимназиях с «процентной
нормой»?..

И действительно! Не приняли! Почему?
Потому что у него нет двух пятерок. Если бы
он получил две пятерки, он, может быть, был
бы принят!.. Понимаете, — «может быть»! Как
вам это нравится?

Я уже не говорю о том, какую сцену зака-
тила мне жена. Но малыша мне было жалко
до боли! Лежит, бедняга, уткнувшись головой
в подушку и, не переставая, плачет!

Долго ли, коротко ли, пришлось взять но-
вого учителя, студента из гимназии, и стали
готовить мальчика уже во второй класс. Вто-
рой класс — это уже не шутка: тут, кроме ма-
тематики и грамматики, требуется еще и гео-
графия, и чистописание, и—чорт его знает, что
еще!..

Хотя, с другой стороны, — все это гроша
ломаного не стоит. Уверяю вас, что любая гла-
ва из талмуда труднее всех этих наук, а мо-
жет быть, и умнее. Но что прикажете делать?
Нам не привыкать...

Началась история с уроками: только
встал — за уроки. Помолился, закусил — за
уроки; днем и до позднего вечера — уроки.

Целый день только и слышно: «именительный — дательный, сложительный — вычитательный»... В ушах звенит.

Где там кушать? Какой там сон?..

— Взяли, — говорю, — невинную душу и мучают ни за что, ни про что!.. Ребенка, — говорю, — жаль! Как бы не захворал!

— Типун тебе на язык! — отвечает жена.

Короче говоря, он снова пошел к экзамену и получил круглые пятерки. Что удивительного? У мальчика такая голова — одна на всю империю!

Казалось бы, все хорошо? Не правда ли? А когда вывесили списки принятых, моего все-таки в них не оказалось!

Шум, крик, возмущение: как же это так? Круглые пятерки! Вот она пойдет, вот она побежит, вот она им покажет...

Добегалась моя жена до того, что, между нами говоря, ее просто, извините за выражение, выставили...

А когда ее прогнали, она пришла домой и, конечно, сорвала на мне всю свою злобу:

— Какой ты отец? Если бы ты действительно был преданным отцом, как другие, ты бы нашел какую-нибудь протекцию к директору, знакомства, связи...

— Как вам это нравится? Мало того, что у меня мозг сохнет от своих дел, мало того, что я вечно думаю о сезонах, ярмарках, опротесто-

ванных векселях? Уж не хочешь ли ты, чтобы я еще, чего доброго, обанкротился из-за твоей гимназии и классов, которые у меня вот где сидят?!..

Ведь я же только человек, и у каждого человека есть желчь. Нет-нет, да и прорвет...

Но поставила на своем, конечно, она, а не я. Уж если она чего-нибудь захочет, так ничего не поделаешь...

Словом, начались поиски протекций и знакомств...

Знали бы вы, сколько унижений, позора пришлось мне принять! Ведь каждый спрашивает — и правильно спрашивает, — зачем я это делаю? Ведь вы, — говорят, — реб Арн, человек почтенный. Имеете всего-навсего одного, единственного сына... Куда же вас нелегкая носит? Что заставляет вас соваться с ним, куда не следует? Ну, поди расскажи им, что есть у меня жена, — дай ей бог здоровья! — которая втемяшила себе в голову: «Гимназия, гим-на-зия!»

Однако, и меня, надо вам сказать, за ручку тоже водить не приходится: проторил-таки себе дорожку прямо в кабинет директора гимназии.

Пришел я к нему и стал выкладывать. Говорить с начальством я, слава тебе господи, умею. За язык тянуть меня не надо.

— Что вам угодно? — спрашивает он и просит сесть.

— Господин директор! — говорю я ему тихо, на ухо, — мы люди небогатые, но у нас есть маленькое состояние и один хороший, замечательный мальчик, который хочет учиться; и я хочу, но моя жена очень хочет...

— Что вам угодно? — спрашивает снова директор.

Я подсел еще ближе и повторил:

— Мы люди небогатые, но у нас есть маленькое состояние и один хороший, замечательный мальчик, который хочет учиться; и я хочу, но моя жена очень хочет!

При этом я делаю ударение на «очень», чтобы он понял... Но он никак в толк не возьмет:

— Так что же вам угодно? — спрашивает он уже сердито.

Тогда я потихоньку сунул руку в карман, вынул потихоньку деньги и говорю ему потихоньку:

— Извините, господин директор, мы люди небогатые, но у нас есть маленькое состояние и один хороший, замечательный мальчик, который хочет учиться; и я хочу, но моя жена очень хочет!

И еще больше нажимаю на «очень» и сую ему в руку деньги...

Словом, клюнуло! Он понял, в чем дело,

вынул какую-то книжечку и спросил, как меня зовут, как зовут сына, и в который класс я намерен его определить?

«Вот так и говори!» — думаю я и выкладываю:

— Меня зовут Кац, Арон Кац. А сына зовут Мойше, то-есть Мошка; а определить его я намерен в третий класс.

Тогда он мне отвечает: коль скоро меня зовут Кац, а сына моего зовут Мойше, то-есть Мошка, а хочет он поступить в третий класс, то я должен привести его в январе, и тогда он наверное будет принят.

Понимаете? Совсем другой разговор! Не подмажешь, не поедешь!.. Конечно, хотелось бы сейчас закончить это дело, — но уже тут ничего не попишешь: велят ждать, — надо ждать. Нам не привыкать...

Наступил январь. Снова началась кутерьма: со дня на день должно состояться собрание, совет учителей то-есть. Соберутся директор, инспектор и все учителя гимназии, и лишь после собрания, после совета то-есть, будет известно, принят ли он или нет.

Все в доме пошло прахом: жены дома нет, обеда нет, самовара нет, вообще, ничего нет!

Где же моя жена? Торчит в гимназии. Вернее, не в гимназии, а возле гимназии: бродит с самого утра на холоду и ждет, когда совет кончится.

Мороз, вьюга, стужа, а она дожидается на улице. Казалось бы, чего беспокоиться? Человек обещал, значит — свято! Тем более... Вы понимаете? Но попробуйте убедить мою жену. Ждет час, другой, третий, четвертый... Дети уже давно по домам разошлись из гимназии, а она все ждет. В конце концов дождалась: открылись двери и выходит один из учителей.

Жена, увидев учителя, подскочила к нему и стала расспрашивать, не знает ли он, чем кончилось собрание, совет то-есть?

— Почему же ему не знать? — говорит он.

И рассказал, что принято восемьдесят пять человек, из них восемьдесят три русских и два еврея: одного зовут Шепсельзон, а другого — Кац!

Услыхав фамилию Кац, моя благоверная прибежала домой счастливая и довольная:

— Поздравляю! Слава тебе, господи боже мой! Благодарю тебя! Принят! Принят! — А у самой слезы на глазах.

Само собой разумеется, что мне тоже приятно, но я ведь мужчина: не прыгать же мне в самом деле от радости...

— Для тебя, я вижу, это вовсе не радость? — говорит жена.

— Почему ты так думаешь?

— Потому, что ты холоден, как рыба! Если бы ты знал, как мальчик волнуется, ты бы не сидел сложа руки! Ты бы давно уже по-

заботился о мундирчике, о фуражке, о ранце! Устроил бы вечеринку для друзей и знакомых!

— Какие еще вечеринки? Что это: «бармицво»¹ или помолвка?

Так я ей заявляю очень спокойно, — ведь я же мужчина, а не баба... Тут она обиделась и совсем перестала со мной разговаривать. А когда жена перестает разговаривать, так хоть из дому удирай! Пусть уж лучше кричит, проклинает: по крайней мере, голос человеческий слышишь. А так — говори к стенке!.. Короче говоря, она, конечно, поставила на своем. Если она чего-нибудь захочет, — так уж ничего не поделаешь...

Закатили вечеринку на славу, пригласили друзей, знакомых, родственников. Мальчишку нарядили во все новое — мундир с блестящими пуговицами, фуражка с финтифлюшкой на околышке — губернатор да и только!

Что и говорить: доставили мальчику радость, прямо-таки душу новую в него вселили, к жизни вернули. Он сиял, говорю я вам, как солнышко в июне. Гости выпили и стали наперебой желать всяких благ:

— Пусть учится на здоровье, пусть кончит гимназию и двигается дальше и дальше...

— Ну, — говорю я, — это вовсе не обяза-

¹ Б а р-м и ц в о — празднование религиозного совершеннолетия мальчика (в 13 лет).—*прим. переводчика.*

тельно. Обойдемся, — говорю, — и без этого... Окончит несколько классов, а там я его, с божьей помощью, женю...

А жена вскинула на меня глаза и говорит с усмешкой, обращаясь к гостям:

— Скажите ему, что он ошибается. Он все еще живет по-старинке...

— Скажите ей, — отвечаю я, — что по-старинке было не в пример лучше.

— Скажите ему, — снова говорит она, — что он, извините...

Гости смеются:

— Ох, реб Арн, — говорят они, — и жена у вас, не сглазить бы! Казак, а не жена!

Тем временем хватили по рюмочке, хватили по другой, а потом пустились в пляс, устроили круг, меня с сыном поставили посредине и прыгали до самого рассвета.

Утром мы с сыном отправились в гимназию, пришли, конечно, ни свет, ни заря. Кругом все закрыто, ни живой души, как говорится...

Промерзнув основательно на улице, мы прямо-таки ожили, когда, наконец, отворили двери и впустили в помещение. Вошли. Начали собираться ребята. Шум, гам, беготня по коридорам, смех, шутки — столпотворение!

Между тем, подходит к нам какая-то фигура в мундире с золотыми пуговицами — очевидно, учитель, — с бумагой в руке и спрашивает:

— Что вам угодно?

Я объяснил, что привел мальчика в гимназию учиться.

— В который класс? — спрашивает он.

— В третий. Недавно принят.

— Как зовут?

— Кац. Мойше Кац, то есть — Мошка Кац.

— Мошка Кац? — говорит он. — Такого у него в третьем классе нет. Есть Кац, но не Мошка, а Мордух...

— Какой Мордух? Мошка, а не Мордух!

А он мне:

— Мордух!

И тычет мне в лицо своей бумагой.

Я ему «Мошка!», а он мне — «Мордух!»

Словом, «Мошка—Мордух», «Мордух—Мошка»... «Мошковали» мы этак и «мордуховали» до тех пор, пока не выяснилась занятная история: то, что полагалось мне, досталось по ошибке другому. Понимаете, какая штука? В третий класс, действительно, принят Кац, но только не мой сын, а другой. Вышло, так сказать, недоразумение!..

Что мне вам рассказывать? Видели бы вы горе мальчика, когда ему пришлось снять финтлюшку с фуражки!

Ни одна невеста перед венцом столько слез не проливала, сколько в тот день пролил мой сынишка! Уж я и утешал его и сердился на него...

— Видишь! — сказал я жене. — Видишь, что ты натворила? Не говорил я тебе, что твоя гимназия для него несчастье? Хорошо будет, если все пройдет благополучно, если ребенок не расхворается...

— Пусть мои враги хворают, если им так хочется! Мой сын должен попасть в гимназию! Если не сейчас, то в будущем году! Если не здесь, то в другом городе! Но в гимназии он будет! Разве, что я глаза закрою и в могилу уйду!

Слыхали разговор!

И что вы думаете? Кто поставил на своем? Я или она? Будем говорить откровенно: если она чего-нибудь захочет, то поставит на своем.

Я начал путешествовать из города в город... Побывали мы всюду, где только есть гимназии, и всюду держали экзамен, и всюду выдерживали и хорошо выдерживали, и всюду не попадали! Из-за чего? Из-за процентной нормы. Норма!

Можете мне поверить, — я сам себе казался сумасшедшим: «Дурень! Чего ты носишься, как угорелый, из города в город? — спрашивал я себя. — На какого лешего это тебе нужно? Ну, а если он уже поступит, что тогда будет?» Но с другой стороны, и меня самого охватило какое-то упорство.

В конце концов, господь бог послал мне

где-то в Польше какую-то «коммерческую» гимназию, в которую принимают на каждого не-еврея — одного еврея. То-есть, пятьдесят процентов. Порядок, собственно, такой: каждый еврей должен привести с собой в гимназию русского ученика. И вот, если этот русский ученик выдержит экзамен и если за него будет внесена плата за учение, тогда есть надежда...

Иначе говоря, вместо одного горба, берешь на себя два. Мало того, что голова у меня сохнет за своего, я еще должен волноваться за другого. Потому что, если тот не выдержит, то и мой пропал... Так и было. Пока я нашел какого-то типа по фамилии Холява, у меня глаза на лоб вылезли! А когда дошло дело до экзаменов, мой Холява провалился, как библейский Корах! И на чем? На «законе божьем»! Короче, мой сын должен был сидеть с ним и обучать его «закону божьему»... Вы спросите, откуда мой сын знает «закон божий»? Но ведь я вам говорю, что у него голова — одна на всю империю!..

Словом, господь бог внял молитвам, и Холява выдержал. Теперь уже, как будто, все? Однако, когда пришла пора записываться и получать квитанцию, — Холявы нет! В чем дело? отец, видите ли, не желает, чтобы его сын находился среди стольких евреев! Хоть режь его! На что ему это нужно, — говорит он, — когда для него и без того все двери открыты?

Собственно говоря, он прав, но что же делать? «Чего же ты хочешь, пане Холява?» — спрашиваю я. — «Ничего!» — отвечает он. Словом, нашлись добрые люди, затащили Холяву в трактир, подпоили его малость и, в конце концов, уломали. Слава тебе, господи!

Приехал я домой — новая беда! Что случилось? Жена тоскует: единственный сын, единственный глаз во лбу — за тридевять земель! Он где-то там, а мы — здесь!.. Жизнь не мила!

— Чего же ты хочешь? — спрашиваю.

— Ты не понимаешь, чего я хочу? Я хочу быть с ним!

— А как же дом?

— Дом, — говорит, — домом!

Что тут скажешь? Словом, она уехала к нему, а я остался один, как перст, на весь дом... Правда, какой уж там дом? Сами понимаете, — дом без хозяйки! Все пошло прахом — и хозяйство, и дела... Только и делаем, что письма пишем. Я — ей, она — мне! «Привет дорогой супруге»... «Привет дорогому супругу»... «Ради бога, — пишу я ей, — чем это все кончится? Ведь мы же только люди! Без хозяйки»... Короче говоря, ничего не помогло. Поставила на своем, конечно, она... Словом, бросил я все, распродал, разорился и перебрался туда, к ним.

Приехал, стал присматриваться, приноживаться, искать дела... Нашел компаньона.

Очень порядочный человек, варшавский домо-владелец, заправила в местной синагоге... Но по существу — мошенник, аферист, карманщик. Чуть не погубил меня!..

Можете себе представить, как я себя чувствовал. Между тем, прихожу как-то домой, — вижу — меня встречает сын с покрасневшими глазами и без финтифлюшки на фуражке.

— Скажи-ка, — обращаюсь к нему, — Мой-шеле, где твоя финтифлюшка?

— Какая финтифлюшка? — говорит он.

— Бляха!

— Какая бляха?

— Да вот та, что на шапке. Ведь только к празднику покупали тебе фуражку с новой финтифлюшкой.

Покраснел мой парень до ушей и говорит:

— Снял.

— Что значит «снял»? — спрашиваю.

— Я свободен, — говорит.

— Что значит «свободен»?

— Мы все свободны...

— Что значит: «мы все свободны»?

— Мы не ходим...

— Что значит: вы «не ходите»?

— Мы объявили забастовку...

— Что значит, — говорю, — вы объявили «забастовку»? Что еще за забастовщики такие? Для этого я столько трудов и денег положил?

Для этого я жертвовал собой? Чтобы ты потом мог устраивать забастовки? Горе мне, и тебе, и всем нам! Хоть бы это не кончилось новым несчастьем для евреев... Потому что везде и всегда еврей в ответе.

Я, конечно, погорячился, стал кричать, читать мораль... Ну, вообще, как отец...

Но тут вмешалась жена. Она обрушилась на меня и стала уверять, что я окончательно выдохся, что я совершенно не разбираюсь в том, что делается на белом свете, что жизнь стала совсем иной, что наступили новые времена, времена свободы и равенства. Кончились, говорит, богачи и бедняки, господа и рабы, овечки и стригуны, нет больше ни собачки-гавки, ни кошки-царапки, ни мышки-кусачки...

— Эге-ге! — говорю, — откуда что берется! Заговорила ты что-то по-новому... Уж не собираешься ли ты раскрыть курятник и выпустить кур: «киш-киш, куры, на свободу!»?

Загорелась она, будто кипятком ошпарили, и стала отчитывать меня... Ничего не поделаешь, — надо выслушать до конца, а конца, как на грех, не видать...

— Знаешь что?—говорю. — Довольно! Хватит! Я кругом виноват, а вы правы! Кончено! Пусть только́ будет тихо.

Но она и слушать не желает! Нет, она хочет знать, почему, отчего, как это возможно, мыслимо ли это, что это значит, и как это

могло случиться, и так далее, и тому подобное!..

.....
.....
.....

— Скажите на милость, кто это выдумал...
жену?!

ПРИНЯТ

— Вот вы говорите... Я сейчас расскажу вам более интересную историю! Есть у нас в городе некий Финкельштейн. Богач. Капиталист. Двое сыновей у него. Мне кажется, мне бы такие средства, я плюнул бы на всю эту кутерьму. Во сколько, вы думаете, обошлась ему эта история? Иметь бы нам с вами хотя бы половину...

— Чорт возьми! Я еще в прошлом году говорил. Вот увидите, говорил я, что больше половины евреев выкрестится.

— Мои слова! У нас в городе жил некто Маршак. Где только он не бывал. Нигде не допустили. И что вы думаете? Отравился человек...

— Хотел бы я, чтобы это было не так, говорил я. Вот увидите: как начнут наши креститься, ни одного еврея не останется. Чорт возьми! Что же прикажете делать? Ведь житья никакого нет от этих «процентов» и циркуляров! Что ни день — новый циркуляр. Сколько еврейских детей — столько циркуляров. Вот

увидите, говорил я, доиграются до того, что вообще принимать перестанут. Да вот вам, к примеру, Шпола. Казалось бы, еврейский город? не правда ли?

— А Немиров? Вот у меня письмо из Немирова... Очень невеселые вести...

— А в Лубнах, думаете, лучше?

— А что в Лубнах?

— Или, скажем, в Ананьеве. В Ананьеве, бывало, ежегодно принимали не меньше трех евреев...

— Да что Ананьев. В Томашполе в этом году ни одного еврея не приняли! Хотя бы для виду.

— А у нас в этом году приняли восемнадцать евреев.

Голос раздался сверху. Оба пассажира (и я тоже) задрали голову и смотрят вверх. С верхней полки свешивается пара ног в глубоких резиновых калошах. Ноги в глубоких резиновых калошах принадлежали еврею, черноволосому, лохматому, с отеком от долгого сна лицом.

Собеседники разглядывают заспанного пассажира с одутловатым лицом, пожирают его глазами, как заморское чудовище, которое в наших краях и не водится. Оба сразу оживились, обрадовались и с горящими глазами спрашивают наперебой:

— У вас, говорите вы, приняли восемнадцать евреев?

— Восемнадцать штук, один в одного! И моего с ними!

— Вашего тоже приняли?

— Да еще как!

— Где? Где это?

— Да у нас же! В Малом Перещепине.

— В каком таком Перещепине? Где это такое, Перещепино?

Оба вскакивают с места, переглядываются, смотрят на пассажира с верхней полки. А тот, с одутловатым лицом, смотрит на них сверху вниз:

— Не знаете Малое Перещепино? Местечко такое. Никогда не слышали? Есть два Перещепина — Большое и Малое. Я из Малого Перещепина.

— Ах, вот как... Ну, будем знакомы. Слезайте к нам. Чего вы там сидите в одиночестве под самыми небесами.

Обладатель ног в глубоких резиновых калошах, кряхтя, сполз вниз к двум собеседникам.

Те потеснились, уступили ему место и набросились на него, как голодная саранча:

— Стало быть, вашего приняли?

— Еще как приняли!..

— Скажите, дорогой друг, как же это случилось? У вас там, видать, «берут»?

— Берут? Упаси бог? О деньгах даже

вспоминать нельзя! То-есть, раньше у нас, действительно, деньги были в ходу. Да еще какие деньги! Ого-го! К нам ездили из соседних городов. Знали, что Перещепино — это такое место, где берут... Но, на мое счастье, вот уже несколько лет — после доноса — как рукой сняло. Не берут.

— Что же? Протекция?

— Какая там протекция? «Они» там сговорились раз и навсегда: еврей — стало быть, принять! Принимать, и никаких.

— Серьезно? Да что вы говорите? Вы, очевидно, смеетесь над нами?

— Смеюсь? С какой стати я стану смеяться над вами?

Собеседники переглядываются, будто хотят прочесть, что у них на лицах написано. Но так как на лицах ничего не написано, первые два пассажира снова обращаются к третьему.

— Погодите! Как вы сказали? Откуда вы сами?

Третий пассажир отвечает уже с некоторым раздражением:

— Я вам уже три раза сказал — из Перещепина, из Малого Перещепина.

— Простите, но мы впервые слышим о таком городе.

— Ха-ха-ха! Перещепино — город? Хорош город! Перещепино не город, а городишко, деревня, можно сказать. Мес-теч-ко!!!

— Тем не менее, у вас там... Как оно называется, ваше местечко... Пере... Пере...

Еврей из Малого Перещепина вскипает уже не на шутку:

— Странные люди! Не можете выговорить обыкновенного еврейского слова, что ли? Пере-ще-ли-но! Пере-ще-ли-но!

— Ну, ладно, ладно. Пускай будет Перещепино! Чего же вы сердитесь?

— Я вовсе не сержусь. Я просто не люблю, когда меня переспрашивают одно и то же девяносто девять раз.

— Извините, пожалуйста! Ведь у нас та же беда, что и у вас. Услыхали, что вашего приняли, вот нас и задело за живое. Мы и расспрашиваем... И, кроме того, если правду сказать, мы никак не могли себе представить, что у вас в этом самом... как оно называется... в Пере... Пере... Перещепине имеется гимназия!

Перещепинец сердито уставился на них широко раскрытыми глазами:

— А кто вам сказал, что у нас в Перещепине есть гимназия?

Пассажиры в свою очередь недоумевающе уставились на него:

— Позвольте! Но ведь вы же говорите, что вашего сына приняли у вас в Перещепине?

Перещепинец смотрит на них с нескрывае-

мой злобой. Потом встает и кричит им прямо в лицо:

— В солдаты его приняли! В солдаты! В сол-да-ты!

* *

*

Уже рассвело. В окно проникает голубовато-серый свет.

Пассажиры понемногу просыпаются. Кто разминает кости, кто покашливает, кто вещи собирает.

Наши собеседники разошлись в разные стороны. Раззнакомились. Один отвернулся в уголок и угрюмо задымил папиросой. Другой достал маленький молитвенник, уселся и, закрыв один глаз, стал сосредоточенно нашептывать молитву. Третий, сердитый еврей из Малого Перещепина, принялся за еду.

Удивительно, как все трое стали вдруг чужими друг другу. Не только словом не перекинутся, но и глазами избегают встречаться, как будто все они вместе совершили что-то нехорошее, какое-то постыдное дело, смертный грех.

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК В КОДНЕ

Знаете, когда самое лучшее время для путешествия по железной дороге? Осенью, после праздника кущей.

Не жарко, не холодно. Вы не видите ни заплаканного неба, ни мрачной, тоскливой земли. Крупные капли дождя хлещут по окну, скатываются по запотевшему стеклу, точно слезы. А вы сидите барином в вагоне третьего класса со многими подобными вам барам и бросаете время от времени взгляд за окно. Вы видите, как где-то вдалеке тащится возок, утопая в грязи. На возке сидит, согнувшись в три погибели, накрывшись мешком, божье создание и вымещает злобу на другом божьем создании, на бедной лошадке. И вы благодарите господу-богу за то, что находитесь под кровом, среди людей. Не знаю, как вы, но я очень люблю ездить по железной дороге осенью, после праздника кущей.

Главное для меня — место. Если мне уда-

лось занять место, особенно с правой стороны, у окна, я чувствую себя царем. Вынимаю портсигар и, закуривая папиросу за папиросой, начинаю оглядываться, кто попутчики, с кем можно потолковать о делах. Пассажиров, слава богу, достаточно, набито точно сельдей в бочке. Бороды, носы, шапки, животы, тени людей. А людей? Ни одного. Впрочем, вон там в уголке сидит один странный человек, не похожий на остальных. У меня опытный глаз. Необычного человека среди сотни замечу. То есть, на первый взгляд он ничем, как будто, не выделяется. Самый, можно сказать, обыкновенный человек, каких дюжинами считают. Как говорится, будничный человек. Но одет он как-то странно: не то в кафтан, не то в халат. На голове — не то шапка, не то ермолка. В руках — не то зонтик, не то веник. Странное облачение.

Но не в облачении дело, а в самом человеке: он удивительно подвижен, все время осматривается по сторонам, не может усидеть на месте, и главное — лицо у него сияющее, радостное, живое, с выражением какого-то особенного счастья.

Не иначе, как человек этот либо выиграл в лотерею, либо в добрый час дочку замуж выдал, либо сына в гимназию определил. Он поминутно вскакивает, смотрит в окно и говорит самому себе: «Уже станция? еще нет?» И

снова садится, каждый раз все ближе ко мне, сияющий, веселый, счастливый.

По природе своей, надобно вам сказать, я — человек, не любящий залезать сапогами в чужую душу, разнохивать да расспрашивать: кто, что и как. Я считаю: если у человека есть что-нибудь на душе, он сам откроется.

И действительно. После второй станции мой подвижный человек подсел ко мне еще ближе, то-есть совсем близко, так что его рот очутился возле самого моего носа.

— Куда едете? — обратился он ко мне.

Но по тому, как он спросил меня, как он оглядывался и все время почесывал за ухом, я догадался, что ему не столько хочется узнать, куда я еду, сколько хочется рассказать, куда он едет. Я удовлетворил его любопытство, то-есть я не ответил на его вопрос, а лишь спросил:

— А вы куда едете?

И этого было достаточно.

— Куда я еду? В Кодню. Слыхали про Кодню? Я — тамошний. Кодненский, значит. Недалеко отсюда. Третья станция. Еще, значит, три станции осталось. А оттуда в Кодню надо еще лошадыми часа полтора ехать. Положим, это только говорится полтора часа. На самом деле ехать часа два, здоровых два часа, даже с лишним. И то в том случае, если дорога хорошая и если едешь в фаэтоне. Я уже

заказал фаэтон по телеграфу. Я дал, значит, депешу, чтобы выслали фаэтон на станцию. Вы думаете — для себя? Не пугайтесь. Я могу съездить и с простым извозчиком, шестым пассажиром. А в случае нужды, можно даже взять зонт в одну руку, узелок в другую и наилучшим манером прогуляться пешечком до самого города. Не с моими капиталами, видите ли, фаэтонами ездить. Дела такие, что я мог бы вообще дома сидеть. А? Что вы сказали?

Тут мой собеседник остановился, вздохнул и потом снова заговорил тихим шопотом, прямо мне в ухо, предварительно оглянувшись во все стороны, не подслушивает ли кто.

— Я не один еду. Я с профессором еду... Какое я имею отношение к профессорам, спросите? Сейчас объясню. Слыхали о Кашеваровке? Местечко есть такое, Кашеваровкой называется. Живет там один богатея — выскочка, может слыхали о нем, Бороденко звать его, Ицик Бороденко. Нравится вам такая фамилия? Совсем не еврейская. Но не все ли равно, какая фамилия, еврейская или не еврейская, лишь бы деньги были! А денег у него много, очень много. У нас в Кодне его капитал оценивают в полмиллиона. А ежели вы очень станете настаивать, то я, пожалуй, соглашусь, что у него целый миллион есть. То-есть, по его свинству, простите, судя, можно даже

предположить, что у него два миллиона. Вот вам такое доказательство: хотя я вижу вас впервые, я все же хорошо понимаю, что разъезжаете вы по свету больше моего. Скажите правду, слышали вы когда-нибудь о Бороденко, что он кого-нибудь облагодетельствовал, дал крупное пожертвование или еще чем-нибудь в этом роде? У нас в Кодне мы пока ничего такого о нем не слышали. Впрочем, я у господ в стряпчих не состою; на чужой карман благодетелей много. Я не говорю о благотворительности, о пожертвованиях. О простой человечности говорю я. Бог тебе помог и ты так богат, что можешь позволить себе выписать профессора; чего тебе стоит, если еще кто-нибудь воспользуется этим? Ведь денег у тебя не просят. Просят только слово замолвить. Язык от этого не отсохнет. А вот послушайте же, какая вышла история.

У нас в Кодне как-то проведали (у нас в Кодне обо всем узнают), что у кашеваровского богача, у этого Ицика Бороденко значит, заболела дочь, не про нас будь сказано. В чем, думаете, заключается ее болезнь? Пустяки какие-то — любовь. Влюбилась в русского парня, а тот отказался. Она взяла да и отравилась сгоря (у нас в Кодне обо всем знают). Случилось это лишь вчера. Сейчас же помчались и привезли профессора, самого известного профессора. Такому богачу все по карману. Вот

мне и пришла мысль в голову: ведь профессор там не будет век вековать. Сегодня—завтра назад поедет. А ехать ему надо мимо нашей станции, мимо Кодни значит. Не удастся ли уговорить его, думаю, чтобы он от поезда к поезду заехал к нам, в Кодню, то-есть ко мне. У меня дома сын лежит, не про вас будь сказано. Чем, думаете вы, он болен? Я и сам не знаю. Внутри что-то неладное. Кашлять то он, слава богу, не кашляет, чтобы была какая-нибудь боль в груди — тоже сказать нельзя. Так в чем же дело? Ни кровинки в лице, и слаб, слаб, как муха.. Все оттого, что не ест. Ничего не ест. То-есть, что значит — не ест? Совершенно ничего. Молока стакан иногда выпьет, и то через силу, упрашивать его надо, умолять. А больше ничего: ни ложки супу, ни крошки хлеба. О мясе и говорить не приходится. На мясо он и смотреть не может, голову отворачивает с того самого времени, как у него кровь горлом пошла, нынешним летом. Всего один раз, но сильно. А больше, слава богу, не показывается. Но ослабел он, представить себе трудно. Еле на ногах держится. Шутка ли, когда человека все время лихорадит. Весь горячий, как в тифу. С самой пятидесятницы — тридцать девять и пять, тридцать девять без пяти. И ничего не помогает. Сколько раз у доктора с ним бывал. Но что они знают, наши доктора? Побольше кушать, говорят, но-

больше воздуху. Где же там кушать, когда тот о еде и слышать не хочет? А воздух? Откуда у нас воздух? В Кодне воздух! Ха-ха! Славное местечко — Кодня, еврейское местечко. Есть у нас, слава богу, немало евреев. Есть синагога, школа, раввин — все есть. Только от двух вещей избавил господь: от куска хлеба и от воздуха. О хлебе что тут говорить? Друг у друга кусок отбиваем и тем сыты бываем. А воздух? Кто хочет воздуха, тот отправляется в помещичий «двор». А во «дворе», надо вам сказать, воздуху на всех хватает. Раньше, когда «двор» принадлежал польским панам, туда и носа сунуть не разрешалось. Паны не пускали. Даже не так паны, как панские псы. Но с тех пор, как Кодненский «двор» перешел в руки евреев, собаки там перевелись. Такие же паны, помещики, но еврейские помещики... Не скажу, чтобы жили, как праведники. В синагогу ходить — охотники небольшие, а к нам в баню — подавно! Нарушить праздник субботы они тоже не особенно боятся! И цыпленок, поджаренный на коровьем масле, их не очень пугает. И бороду подстригать, и без шапок ходить, и всякое прочее — обо всем этом и говорить не приходится. Это теперь всюду стало привычным делом. Даже у нас в Кодне уже имеются такие парнишки, которым шапка на голове в тяжесть... Правда, Кодне было бы грешно жаловаться на

своих помещиков. Наши помещики не прочь походить в благодетелях, а при удобном случае норовят похвастать своей щедростью. Наступит осень — они подбросят сотню—другую мешков картофеля для бедных. Зимой соломы на топливо пришлют.⁴ Недавно они подарили кирпич для синагоги. Одним словом, честь честью! Кабы только этого цыпленка в масле не было! Ох, уж этот цыпленок!.. Я чернить их не хочу, не думайте. Наоборот, я у них в большом почете. Они реб Алтера (это мое имя) ни на кого не променяют. Если что-нибудь понадобится в городе — новый календарь, скажем, нужен к новому году, маца на пасху, верба на праздник кущей и тому подобное, — всегда за реб Алтером посылают.

И у жены моей в лавке на большие деньги покупают (моя жена лавочку содержит): и соль, и перец, и спички, и всякую всячину. Вот какие у нас помещики. А их сыновья, студенты, в моем сыне души не чают. Как только съезжаются на лето из Петербурга, так и начинают его обучать всяким наукам, целыми днями просиживают с ним за книжками. А мой сынок, надо вам сказать, за книжку жизнь готов отдать, отца с матерью не пожалет! Боюсь сказать, но мне кажется, что книжка — вот его гибель. От книжки все несчастье пошло... Жена, положим, настаивает, что это у него от призыва. При чем тут

призыв? Какой призыв? О призыве он давно и думать забыл. Но, как бы то ни было, из-за книги ли, из-за призыва ли, а дитя мое чахнет. Тает, бедный, как свечка. Спаси, господи, и помилуй.

На его сияющее лицо на одну минуту как бы тучка набежала. Но не больше, чем на одну минуту. Скоро выглянуло солнце, прогнало тучи, и лицо снова засияло, глаза заблестели, на губах заиграла улыбка. Он продолжал:

— Итак, на чем мы остановились? Да. Вот я и решил, давай-ка съезжу я в Кашеваровку к Ицику Бороденко, к богачу значит. Понятно, что я не с пустыми руками, как говорится, отправился туда. Я захватил с собой от раввина нашего (наш кодненский раввин славится на весь мир) письмо. Письмо хорошее. «Так как господь благословил ваш дом достатком, и вы в состоянии выписать к себе в дом профессора; и так как у нашего Алтера, не про вас будь сказано, лежит на смертном одре сын, то не пробудится ли в сердце вашем искра милосердия, и не снизойдете ли вы с высоты вашего благосостояния, не войдете ли в его положение и не постараетесь ли, чтобы профессор на обратном пути, проезжая мимо Кодни, заехал бы на четверть часа, от поезда к поезду, осмотреть больного. За какую милость господь благословит вас и т. д.». Хорошее письмо!

Вдруг послышался свисток. Поезд остановился. Мой спутник сорвался с места.

— Что это? Станция? Я заскочу на минуту в первый класс. Только взгляну на своего профессора и вернусь.

Вернулся он с еще более сияющим лицом. Если бы я был уверен, что можно так выразиться, я бы сказал, что на него снизошел святой дух. Он нагнулся к моему уху и шепнул мне тихо, точно боясь кого-то разбудить:

— Спит мой профессор. Дай бог, чтоб он хорошо выспался, чтоб со свежей головой приехал к нам. Одним словом, где мы остановились?.. В Кашеваровке. Приезжаю я, значит, в Кашеваровку и направляюсь к дому. Звоню у дверей раз, другой, третий. И вот выскакивает фрукт такой, откормленный, с бритой рожей, облизывается, как кот, и спрашивает по-русски:

— Что надо?

Я ему нарочно отвечаю по-еврейски:

— Вероятно, надо.

Он слушает, жует что-то, облизывается и мотает головой.

— К нашим сейчас не подступись. У нас профессор сидит.

— Это-то и хорошо, что профессор сидит, — говорю я, — ради этого профессора я и приехал.

— Какие у вас дела с профессором?

Изволь ему, значит, всю историю рассказать. Подал я ему письмо и говорю:

— Хорошо тебе разговорами заниматься, когда ты за дверью стоишь, но мне-то каково под дождем мокнуть? Вот тебе документ, говорю, передай его, пожалуйста, сейчас же хозяину, в собственные руки.

Он ушел, а я остался на улице. Жду, пока позовут. Жду полчаса, жду час, жду два. Дождь льет, как из ведра. Никто меня почему-то не зовет. Мне уже обидно становится. Не столько за себя, сколько за раввина. Ведь письмо-то не от мальчишки, пишет ведь сам раввин (кодненский раввин славится на весь мир)! Потянул я снова раз и другой за звонок. Выскочил тот же краснорожий фрукт, стал кричать и ругаться:

— Что за нахальство, — говорит, — трезвонить?

— Что за нахальство, — говорю, — заставлять человека стоять два часа под дождем?

И двинулся к двери. Куда там! Захлопнул дверь перед самым носом. Что теперь делать? Невеселое положение. Поехать домой не солоно хлебавши не хочется. Остаться под дождем — перед самим собой стыдно. Ведь я не нищий какой-нибудь... И за сына душа болит... Бедное мое дитя...

Но, как говорят, велик господь! Гляжу —

подъезжает карета, запряженная четверкой, и прямо к крыльцу. Я к кучеру:

— Что за карета? Чьи лошади?

Узнал, что карета и лошади Бороденковы. Для профессора. Надо профессора на станцию отвезти.

Ну, думаю, в таком случае дело мое идет, как нельзя лучше! Замечательно! Не успел я оглянуться, как открывается дверь, и появляется сам профессор. Маленький, старенький, а лицом — как бы вам сказать? — ангел небесный, ангел! Позади сам богач Ицик Бороденко без шапки идет. А совсем позади — тот самый краснорожий фрукт несет в руках чемоданчик профессора. Посмотрели бы вы на богача, чуть ли не миллионера, прости господи! Ходит в обыкновенном суконном пиджачке «диагональ», такие и у нас в Кодне носят, руки в карманах, а сам куда-то в сторону смотрит, косит. Я стою и думаю: «Владыка небесный: вот у эдакого типа — миллионы?..»

Увидал меня богач, посмотрел косыми своими глазами и обращается ко мне:

— Что вам здесь надо?

Я подхожу и говорю:

— Так, мол, и так, — говорю. — Это я от раввина письмо принес.

А он мне:

— От какого раввина?

Как вам нравится? Уже будто и не знает от какого раввина?

— От кодненского раввина, — говорю. — Я — тамошний, из Кодни, специально приехал к господину профессору, не потрудится ли он заехать к нам в Кодню, от поезда к поезду на одну четверть часа, к сыну моему? У меня дитя при смерти.

Так и сказал ему. Ни капельки не преувеличиваю, ни на волос! На что я рассчитывал? Я рассчитывал так:

«У человека случилось несчастье — дочка отравилась. Авось, думаю, смягчится у него душа, пожалеет бедного отца»... Ничего подобного! Даже и полслова не сказал. Только взглянул на краснорожего фрукта, точно хотел сказать ему: «Чего ты не убираешь отсюда этого человека?» А профессор мой тем временем уселся с чемоданом в карету. Еще минута — и прощай профессор! Что тут делать? Проиграна, вижу, моя игра! «Ну, думаю, была не была! Будь, что будет, а дитя родное спасти надо!»... Набрался духу, и бух — прямо под лошадей. Сказать вам, что очень уж приятно было лежать под лошадьми, — не могу. Не помню даже, долго ли мне пришлось лежать, и вообще лежал ли я. Знаю только, что не прошло и мгновения, как старичок, то-есть профессор, стоял уже подле меня.

— Что такое, голубчик?

И просит, чтоб я ему рассказал, не стесняясь и без боязни, чего, собственно, хочу. Богач смотрит на меня своими косыми глазами, а я говорю... Должен вам сказать, что по-русски говорить я не большой мастер. Но в этот раз мне господь придал силы и я заговорил, да еще как! Все рассказал ему, всю душу выложил.

— Так и так, — говорю. — Может быть, вам, господин профессор, суждено быть посланцем господним, чтобы спасти моего сына, единственного моего сына. Он у меня один из шести остался. И если, — говорю ему, — вы денег хотите, то у меня есть, — говорю, — двадцать пять рублей значит. Не мои собственные. Боже упаси. Откуда у меня столько денег? Женины деньги. Она собиралась съездить за товаром. Но бог с ними, с деньгами этими, к чорту всю женину лавку, лишь бы сына спасти!..

Сказал и, расстегнув свой кафтан, хочу достать деньги. А старичок, профессор то-есть, дай ему бог здоровья, — положил свою руку мне на плечо:

— Ничего! — говорит и велит мне лезть в карету. Не увидеть мне своего сына здоровым, если лгу. А Бороденко, чтоб его чорт побрал, даже усы пощипывает от злости. Без ножа хотел резать меня, разбойник! Хорошо, что бог смилостивился, и все обошлось благо-

получно. А что, если бы, не дай бог, все вышло наоборот? А?.. Что вы скажете?

В вагоне началась сутолока. Мой собеседник кинулся к кондуктору:

— Кодня?

— Кодня.

— Будьте здоровы! Счастливого пути! Прошу вас никому не говорите, с кем я еду. Не хочу, чтобы у нас в Кодне проведали, что я с профессором приехал. Сбегутся со всех концов! — сказал мне на прощание еврей и, пожав мне руку, исчез.

Только через несколько минут, когда поезд уже трогался, я увидел в окно, как покачивается старый тарантасик, запряженный парой облезлых, усталых серых лошадок. В тарантасе сидел маленький, старенький человек, в очках, с юными румяными щечками и седой бородкой, напротив него сидел мой знакомец. Вернее, висел, точно на ниточке. Он смотрел старичку прямо в глаза, покачивался, лицо его сияло, а глаза — вот-вот выпрыгнут от радости.

Жаль, что я не фотограф и не везу с собой аппарата. Следовало бы снять моего знакомого в эту минуту. Пусть бы весь мир увидел счастливого человека — самого счастливого человека в Кодне.

« ПРАЗДНОШАТАЮЩИЙСЯ »

Знаете, где лучше всего ездить? Лучше, чем везде, тише, чем везде, и спокойнее, чем везде?

В «праздношатающемся».

Так прозвали богопольские евреи поезд узкоколейной дороги, которая прорезывает целый ряд местечек: Богополь, Гайсин, Теплик, Немиров, Хашевато и другие благословенные места, по которым нога прародителя Адама никогда не ступала.

Богопольские евреи, которые слынут всюду шутниками, не нахвалятся своим «праздношатающимся».

Во-первых, говорят они, вы никогда не боитесь, что опоздаете к поезду. Когда бы вы ни явились на станцию, вы все еще застанете поезд. Во-вторых, говорят они, чего стоит уже одно то, что вам не приходится драться за место? Вы можете проехать, говорят они, громадное расстояние один-одинешенек, лежать, растянувшись барином, и спать себе в свое удовольствие.

Все это — чистая правда. Вот уже недели три, как я разъезжаю по этой линии в «праздношатающемся». Еду, еду и все на одном месте стою. Точно колдовство какое! Но не думайте, пожалуйста, что я огорчаюсь. Наоборот, я очень доволен. Потому что я имею возможность насмотреться там и послушаться таких интересных историй и происшествий, что я даже не знаю, когда я успею все это записать в свою памятную книжку.

Начать хотя бы с истории, как была построена эта железная дорога. Это, безусловно, достойно описания.

Когда получилось из Петербурга известие, что по этим местам будет проведена железная дорога (Витте был тогда министром), евреи говорили: «Вздор! Зачем нужна Теплику, Голте или Гайсину железная дорога? Будто они так уже приучены, что никак без дороги не обойдутся?...» Так говорили местные евреи, а богопольцы, те сыпали остротами, по своему обыкновению, посмеивались, показывали на ладонь: «Когда здесь, мол, волосы вырастут...»

Немного спустя, когда приехал инженер и начал производить съемки и измерять поле, евреи замолкли, а богопольцы спрятали руки. Богопольские евреи имеют одно достоинство: не угадав, они не огорчаются. «Даже кален-

дари врут иногда», — говорят они в таких случаях. Народ со всего края потянулся к инженеру с протекциями и рекомендациями, с письмами и просьбами — предоставить им работу. Евреям заработок нужен. А теплицкие, бершадские, гайсинские и богопольские евреи слышали, что на железнодорожных подрядах люди богатеют. Доказательством может служить сам Поляков¹.

Еврей-купцы, не только лесопромышленники или поставщики камня, но даже промышленяющие хлебом и кожей, также бросились на железную дорогу. Все евреи превратились в концессионеров, подрядчиков, «строителей железных дорог». «Наши Поляковы», — говорили про них в Богополе, — и заранее высчитывали, сколько кто положит в карман. Одним словом, всех в крае охватила строительная горячка, нечто вроде железнодорожной лихорадки, не миновавшей никого. Деньги — вещь соблазнительная. Кому не охота в один присест превратиться в Полякова?

Борьба и конкуренция между «концессионерами», подрядчиками и строителями дошла до того, что работы, говорят, приходилось делить по жребию. Те счастливики, которым удавалось добиться благоволения инженера,

¹ При царизме был крупным подрядчиком по постройке железных дорог и нажил на этом миллионное состояние.

получали работу. А те, которые работы не получили, довольствовались небольшой «долей» в чужих работах. А «долю» эту им необходимо было предоставить потому, что обиженные довольно прозрачно намекали, что они знают, где находится Петербург, где помещается правление... Купцы заложили женины наряды и жемчуг, свои праздничные сюртуки и стали проводить железную дорогу. И, потеряв все до гроша, наказали правнукам своим и близко не подходить к железным дорогам...

Одно другого, однако, не касается: евреи, действительно, превратились в нищих, но, говорят, своего они добились: все-таки построили железную дорогу. И, несмотря на то, что богопольцы, как нам уже известно, прозвали свой поезд «праздношатающимся», они все же не могут им нахвалиться и превозносят его до небес.

Они утверждают, например, что за все время его существования с ним не случилось ни одной катастрофы. Дело понятное, говорят они: «Кто ползет, тот не упадет», а «праздношатающийся», действительно, ползет, чересчур даже медленно ползет.

Богопольские остряки, которые вообще склонны к преувеличениям, рассказывают историю, случившуюся с одним богопольским горожанином: он якобы выехал на «праздношатающемся» из Богополя в Хашевато к свое-

му куму на праздник обрезания родившегося у кума сына, а приехал уже к его совершеннолетию.

И еще рассказывают они, что сваты однажды назначили смотрины бершадской девицы и немировского жениха на полпути между этими городами. Но пока поезд их доставил на условленное место, жених оказался седым, а девица — без единого зуба во рту. И сватовство поэтому не состоялось.

Но я откровенно скажу вам: не люблю я этих богопольских остряков и не люблю их шуток и преувеличений. Я люблю записывать только то, что видел собственными глазами или, на худой конец, то, что слышал от солидных деловых людей.

Я, например, недавно слышал от одного гайсинского купца, что несколько лет тому назад, в последний день праздника кушей с «праздношатающимся» случилась катастрофа, вызвавшая панику по всей линии и всколыхнувшая весь край. Катастрофа произошла из-за одного еврея и священника. Я вам сейчас расскажу эту историю в отдельном рассказе, тем же языком, каким рассказал ее сам гайсинский купец. Я люблю передавать только то, что слышал. Почитайте, и вы сами тогда убедитесь, что все это сушая правда.

Гайсинский купец врать не станет.

ЧУДО В СОБОЛЕВКЕ

— «Чудо в Соболевке» — так называли у нас железнодорожную катастрофу, которая случилась в день Ойшанорабо, в день подписания небесного жребия. Произошло это событие в нашем же Гайсине. Правильнее, не доезжая Гайсина, на одной из станций, называемой Соболевка...

В таких словах гайсинский купец — на вид очень солидный человек — степенно начал свой рассказ о катастрофе, случившейся у них на узкоколейке, где поезд называется «праздношатающимся» (я уже описал его в своем введении). А так как гайсинский купец рассказывал мне эту историю, сидя в этом же «праздношатающемся», который не очень спешит, а в вагоне нас было только двое, он расстегнулся, разлегся, точно у себя дома, и начал рассказывать, не спеша, смакуя каждое слово и поглаживая при этом живот, улыбаясь, будучи, видимо, очень доволен собой и своим рассказом.

— Вы разъезжаете в нашем «праздношатающемся», слава богу, вторую неделю и изучили, конечно, его прихоти. У него есть привычка: как приедет на какую-либо станцию, так остановится и стоит, никак распрощаться не может с ней. По расписанию ему, конечно, полагается стоять определенное время. На станции Затковичи, например, ему назначена стоянка ровно в один час и пятьдесят восемь минут, а на станции Соболевка, о которой я вам рассказываю, он не имеет права стоять ни одной секундой больше, нежели час и тридцать две минуты. Но я пожелал бы ему столько чирьев, сколько лишних минут он простаивает и в Затковичах и в Соболевке. Он стоит там больше двух, а иногда и больше трех часов. Все зависит от того, как много времени отнимают у него маневры. А что у «праздношатающегося» называется маневрами, вам и без меня известно. Распрягут паровоз, и вся бригада — кондуктор, машинист и кочегар — усаживается с начальником станции, с жандармом и телеграфистом распивать пиво бутылку за бутылочкой...

А что делает во время этих «маневров» публика, пассажиры, значит, вы уже видели. Слоняются без толку, чуть с ума не сходят. Кто зеваает, кто забирается в уголок и дремлет, кто прогуливается по платформе с залю-

женными назад руками, напевая вполголоса.

И вот, как раз в день Ойшанорабо, во время маневров, стоит себе на станции Соболевка один еврей, даже и не пассажир, представьте себе, а просто один из соболевских жителей, любопытный еврей, стоит у паровоза, заложив за спину руки, и глядит. Как тут вдруг очутился соболевский житель? Дело обыкновенное... День праздничный, еврей утром помолился, как полагается, поотхлестал об стол свой пучок вербы, сходил домой, поел. На душе настроение — полупраздничное, полубудничное. Жребий там, на небе, все равно уже подписан на весь грядущий год, а дома делать нечего — канун праздника. Взял он палку и побрел на вокзал — «встречать поезд».

«Встречать поезд», надобно вам сказать, обычное занятие во всех наших местечках. Как подходит время поезда, так все и устремляются к вокзалу — авось, кого-нибудь увидят. Кого? — Теплицкого еврея? Гайсинскую еврейку? Голованевского попа? Они и сами не знают. Однако ходят. К тому же поезд им тогда еще в диковину был, «праздношатающийся» недавно только появился в наших местах, было на что посмотреть, что послушать. Как бы то ни было, ходили ли на вокзал по той или другой причине, но в день

Ойшанорабо, утром после «жребия» стоял у распряженного паровоза еврей и смотрел на машину.

Казалось бы, кому до этого дело? Захотелось соболевскому еврею постоять и поглядеть, пусть стоит и глядит себе на здоровье! Так нет же! Случился тут на грех среди пассажиров поп один, из наших же мест, из Голованевска, — местечко такое есть недалеко от Гайсина. От нечего делать расхаживает поп на той же платформе. Он тоже заложил руки назад и тоже остановился у паровоза. И вот поп этот обращается к еврею:

— Послушай-ка, Юдко! Чего ты здесь не видал?

— Почему Юдко? Мое имя Берко, а не Юдко! — отвечает еврей.

— Пусть будет Берко. Что ты, Берко, здесь делаешь?.. — говорит поп.

— А вот стою и гляжу на божьи чудеса, — отвечает еврей, не сводя глаз с паровоза. — Как мудро все это устроено. Стоит повернуть один пустяковый винтик сюда, а другой туда, и такая громадная машина начинает двигаться!

— А откуда ты знаешь, что нужно повернуть этот винт сюда, а тот — туда, и тогда машина пойдет? — спрашивает его поп.

— Если бы я не знал, то не говорил бы, — отвечает еврей.

— Ты знаешь, как едят кугель, а больше ничего, — выпалил поп.

Обиделся наш еврей (соболевские еврей—люди с амбицией) и говорит попу:

— А ну-ка, батюшка, потрудись взобраться со мной на паровоз, и я тебе покажу, в чем дело: почему паровоз движется и почему останавливается.

Тут уж и попа задело за живое, и он рассердился не на шутку. С какой стати этот еврейчик смеет говорить, что он ему объяснит, почему паровоз идет и почему останавливается. И он крикнул в сердцах:

— Лезь, Гершко, на паровоз!

— Я не Гершко, а Берко, — снова поправляет его еврей.

— Пусть будет Берко, — соглашается поп, — полезай, Берко, на паровоз!

— Нет, — говорит еврей, — что значит — лезть? Почему мне лезть? Полезай, батюшка, ты первым...

— Ты же меня учить хочешь, — сердито кричит поп, — ты первый и полезай...

Одним словом, спорили, спорили и, наконец, полезли оба. Оба очутились на паровозе, и наш соболевский еврей стал объяснять попу мудрую механику машины. Тихонько повернул один кран сюда, другой — туда, и не успели они оба оглянуться, как с ужасом

заметили, что паровоз тронулся с места и — пошел, пошел!

Но теперь, кажется, самая пора оставить на минутку еврея вместе с попом на распряженном паровозе — пусть мчатся на доброе здоровье — и познакомить вас с нашим героем: кто же он, этот еврей из Соболевки, который обладал таким мужеством, что отважился взобраться с попом на распряженный паровоз?

Берель Уксусный — так зовут, представьте себе, этого соболевского еврея, о котором я вам рассказываю. Почему Уксусный? Потому, что он занимается изготовлением уксуса, самого лучшего уксуса в нашем краю. Это искусство досталось ему по наследству от покойного отца. Но он усовершенствовал его. Придумал, — как он сам про себя рассказывает, — такую машину, которая дает самую лучшую эссенцию. Будь у него время, говорит он, он мог бы снабдить уксусом несколько губерний, но он не видит в этом нужды. Он не гонится за богатством, говорит он. Вот какой он, наш Уксусный! Нигде не учился, а знает какое угодно тонкое ремесло и сведущ во всякого рода машинах. Откуда у него такие знания? В этом нет ничего удивительного. Ведь изготовление уксуса имеет некоторое отношение, говорит он, к винокурению, а винокурение пахнет уже заводом. А на заво-

де, говорит он, работают почти такие же машины, как паровоз. Завод свистит, и паровоз свистит — какая же между ними разница? Главная сила у них берется, говорит Берель и размахивает при этом руками, от топки. Когда топят, говорит он, нагревается котел, и в котле закипает вода; это, говорит, толкает вал, и колеса начинают вертеться куда хочешь. Хочешь, чтобы пошло вправо, крути регулятор вправо. Хочешь влево — крути регулятор влево. Это, говорит, так просто, что проще и быть не может!..

Теперь, после того, как я вас уже познакомил немного с этим соболевским евреем, вам, надеюсь, многое стало ясно, и мы можем снова вернуться к катастрофе.

Вы можете себе представить, какой ужас охватил людей, стоявших на платформе, и как-то паника поднялась среди них, когда они увидели, что паровоз, неизвестно по какой причине, снялся с места и пошел. Вы можете себе представить также, какой переполох начался в «бригаде». Они в первую минуту, представьте себе, бросились было догонять паровоз, хотели, видно, поймать его сзади. Но скоро, однако, убедились, что их труды напрасны. Как на зло, паровоз мчался теперь с какой-то бешеной быстротой. С тех пор, как «праздношатающийся» начал ходить в наших краях, еще ни разу не случилось, чтобы паро-

воз шел с такой скоростью. Бригада вынуждена была вернуться ни с чем и стала сообщать с жандармом и начальником станции составлять протокол, а потом разослала телеграммы по всей линии: «Сбежал паровоз. Примите меры. Телеграфируйте».

Нетрудно представить себе, какую панику эти телеграммы подняли по всей линии. Никто не понимал их значения. Что это значит: «Сбежал паровоз?» И что означают слова: «Примите меры?». Какие меры можно принять, кроме посылки телеграмм?... И полетели телеграммы во все концы. Телеграф работал бешено. Все станции переговаривались между собой, и страшная весть мгновенно распространилась по всем городам и местечкам. По всему краю началось форменное светопрествавление!

У нас в Гайсине передавали, например, что погибла масса народу. Какая ужасная смерть! «Суждено им, видно, несчастным! Да еще в какой день! Как раз в тот день, когда человеку в окончательной форме выносится приговор на весь грядущий год. На небе, видно, решение такое состоялось...» Так говорили у нас в Гайсине, так говорили во всех окрестных местах. И сколько страхов, сколько страданий всякий из нас переживал! Но это, конечно, нельзя даже сравнить с терзаниями тех несчастных пассажиров, которые сбились

на станции Соболевка, как стадо овец, потерявших пастуха. Посреди поездки остаться вдруг без паровоза! Что им, бедным, делать? Куда им в канун праздника деваться? Придется, чего доброго, провести праздник на этой станции.... Да еще такой праздник! Вот неудача! Сбились все в одну кучу и стали оплакивать свою собственную судьбу и судьбу «беглеца» (так успели прозвать сбежавший паровоз). Бог знает, что может случиться с этим беднягой! Шутка ли, несется машина такая по линии одна-одинешенька! К тому же «беглец» ведь должен неизбежно встретиться с тем «праздношатающимся», который идет сюда из Гайсина через Затковичи. Что будет с теми пассажирами? Несчастные! Воображение рисовало картину столкновения со всеми подробностями страшной железнодорожной катастрофы: разлетевшиеся колеса, перевернутые вагоны, оторванные головы, сломанные ноги, отрезанные руки, затоптанные, забрызганные кровью чемоданы... Вдруг — телеграмма! Получилась телеграмма из Затковичей. Телеграмма гласит: «Сейчас пронесся со страшной быстротой мимо станции Затковичи паровоз с двумя пассажирами. Один из них, кажется, еврей, второй священник. Оба размахивали руками, неизвестно зачем. Паровоз промчался на Гайсин».

И тут только началась суматоха. Что это

значит? Еврей и священник на убежавшем паровозе! Куда они убежали? И зачем? И кто он, этот еврей?.. Туда, сюда, стали расспрашивать, разнюхивать — и вскоре узнали, что еврей — местный, из Соболевки. Пошли расспросы: Кто такой? Вы знаете его? Вопрос, знают ли его? Это же — Берель Уксусный, из Соболевки! Каким образом известно, что это он, а не другой? Известно! Соболевские евреи готовы присягнуть, что они издали видели, как Берель стоял с попом у паровоза и размахивал руками... Но что же тут происходит? Как очутился вдруг еврей, делающий уксус, вместе с попом у распряженного паровоза?

Пошли догадки, толки, споры. Между тем, весть о Береле достигла, представьте себе, до Соболевки. Хоть от местечка до станции Соболевка не очень-то далеко, однако, известие, переходя по дороге в Соболевку из уст в уста, всякий раз видоизменялось, каждый прибавлял кое-что от себя и, когда оно, наконец, докатилось до дома Береля, то приняло уже такую дикую форму, что Берелиха раз десять падала в обморок, и пришлось даже врача вызвать... Вся Соболевка выпала на станцию. Поднялся такой шум, что начальник вынужден был отдать жандарму распоряжение: очистить станцию от соболевских евреев... А раз так, то и нам тут нечего

делать. Давайте лучше посмотрим, что стало с нашим евреем и с попом, уехавшими на «беглеце», на ушедшем паровозе, значит.

Впрочем, это легко сказать — посмотреть, что делается на сбежавшем паровозе! Кто может знать, что там творилось? Приходится верить Соболевскому уксуснику на честное слово. Он же рассказывает про свое путешествие удивительные чудеса. Если предположить даже, что тут есть только половина правды, то и этого достаточно. Но Берель Уксусный, насколько я его знаю, не относится, кажется, к тем людям, которые любят преувеличивать.

В первые минуты после того, как паровоз тронулся с места, рассказывает Берель, он почти и не помнит, что с ним произошло. Не столько от страха, сколько от того, говорит, что он никак не мог понять, почему паровоз его не слушается. По здравому смыслу, говорит он, если еще раз повернуть регулятор в ту же сторону, паровоз должен был моментально остановиться, а между тем он пошел еще быстрее, чем раньше. Точно тысяча чертей его толкали сзади. Паровоз мчался с такой быстротой, говорит Берель, что телеграфные столбы, словно мухи, мелькали в глазах, и у него закружилась голова, а ноги стали подкашиваться... Через некоторое время, рассказывает Берель, когда он пришел в себя,

он вспомнил, что на паровозе есть тормоз, рычаг такой, которым можно при желании остановить машину. Есть, — поясняет руками Берель Укусный, — ручной тормоз и есть воздушный. Колесо такое небольшое. Если повернуть колесо вправо, оно надавливает на рычаг, и колеса сами собою перестают вертеться. Он даже не понимает, говорит он, как могла такая простая вещь выскочить у него из памяти. И вот он подходит, значит, к колесу и хочет повернуть его вправо. Но в ту же минуту кто-то хватает его за руку: «Стоп!» — Кто такой? А это, оказывается, поп. Бледный, как полотно, почти и говорить не в состоянии. «Ты что хочешь сделать?» — еле произносит он дрожащим голосом. «Ничего! — отвечает Берель. — Хочу машину остановить...» — «Боже тебя упаси, говорит поп, не смей больше и прикоснуться к машине! А если ты меня не слушаешь — возьму за шиворот и так швырну с паровоза, что ты даже забудешь, что тебя Мошкой звали».

«Я не Мошко, а Берко», — поправляет его Берель и хочет объяснить ему всю хитрую механику колеса, которое называется тормозом. Но тот и слышать не хочет. Такой противный поп! «Довольно тебе вертеть, ворчит поп, ты и так навертел уже, чтоб тебя завертело, проклятый! Почему ты себе шею не сломал раньше, чем взялся на мою голову?» —

«Батюшка, говорит ему Берель, ты, как видно, полагаешь, что мне своя жизнь менее дорога, чем твоя жизнь — тебе?» — «Твоя жизнь? — желчно отвечает поп. — Какая цена собачьей жизни?» Береля это задело не на шутку, и он отчитал, говорит он, попа так, что тот его всю жизнь будет помнить. «Во-первых, говорит Берель, и собаку тоже жалко. По нашему закону и собаку трогать нельзя. Заповедано: «и скоты миловать». А во-вторых, чем моя жизнь перед господом-богом хуже твоей, батюшка? Разве мы не приходим все от одного и того же Адама, и разве мы не возвращаемся к одной и той же земле? Притом, говорит Берель, заметь, батюшка, разницу между мной и тобой: я делаю все возможное, чтобы задержать паровоз, следовательно, забочусь о нас обоих. А ты пришел в такую ярость, что готов сбросить меня с паровоза, иначе говоря, готов убить человека...» И еще много такого наговорил ему, попу значит, всякую мораль читал ему и такие аллегории проводил, что тот чуть не лопнул с досады.

Разговаривая таким образом, они увидели перед собой станцию Затковичи, с начальником станции, с жандармами и прочим народом. Они оба, Берель и поп, стали махать руками, но никто, как видно, их не понял, и они, бедные, вынуждены были, говорит он,

мчаться дальше к Гайсину. Теперь, рассказывает Берель, поп стал гораздо мягче, но дотронуться до машины все же не давал. «Ты ответь мне, Лейбко, — обратился к нему поп, — на один вопрос...» «Меня зовут не Лейбко, — отвечает ему Берель, — меня зовут Берко». — «Пусть будет Берко, — говорит поп. — Скажи-ка, Берко, согласился бы ты, к примеру, прыгнуть со мною вместе с паровоза на землю?» — «Зачем? — спрашивает его Берель. — Для того, чтобы нам обоим, не дай бог, на смерть разбиться?» — «Нам все равно помирать придется», — отвечает ему поп. — «Из чего ты заключаешь? — спрашивает Берель. — Это вовсе не доказано. Если бог захочет, всякое может случиться...» — «Например?» — спрашивает поп. — «А вот я тебе скажу, батюшка, — отвечает Берель. — У нас, евреев, сегодня такой день — «Ойшанорабо». В этот день господь утверждает судьбу всякого человека и всякой твари на земле: жить ли им или умереть; а если умереть, то какой именно смертью. Так что, если небо судило, что мы должны умереть, то наше дело все равно пропащее. И не все ли мне равно: умереть ли, прыгнув с паровоза, умереть ли на паровозе или, вообще, от грома умереть? А разве, идя по совершенно ровному месту, говорит Берель, я не могу упасть и убиться, если будет на то божья воля? Но если гос-

подь утвердил нам сегодня жизнь, и я все равно буду жить, то зачем же мне прыгать?»

— И что говорить? — рассказывает дальше Берель Укусный и божится при этом так, что и отступнику поверить можно. — Не помню, как это случилось, но уже под самым Гайсином, едва показались трубы Гайсинского завода, паровоз начал вдруг двигаться все тише и тише, потом пошел совсем медленно и, наконец, решил совсем остановиться. В чем дело? Ему, очевидно, — говорит Берель, — топлива нехватило. А когда в паровозе, — говорит Берель, — иссякает топливо, то вода в нем перестает бурлить, колеса перестают вертеться, и конец езде. Так бывает и с человеком, — говорит Берель, — если его не кормить. Берель, конечно, тут же сказал попу: «Ну, батюшка, видишь? Я тебе раньше говорил. Если бы господь-бог не решил сегодня, что мне надо еще жить на белом свете, то кто его знает, на сколько времени хватило бы еще топлива и куда бы мы с тобой еще заехали». А поп, — рассказывает Берель, — стоит, опустив глаза, и молчит. Что ему, бедному, отвечать было?

И только уже на прощанье поп протянул ему вдруг руку и сказал: «прощай, Ицко!»

«Я не Ицко, — говорит Берель, — я — Берко». — «Пусть будет Берко, — говорит поп. — Прощай, Берко, я и не знал, что ты такой...»

И, не сказав больше ни слова, задрал полы своей рясы и зашагал быстро назад, очевидно, к себе, в Голованевск. А Берель двинул прямо в город, к нам значит, в Гайсин. И у нас он, представьте себе, провел уже и праздники, вознес молитву об избавлении от беды, а потом не меньше тысячи раз рассказал всю историю с самого начала до конца, всякий раз с новыми подробностями и чудесами... Каждый норовил затащить к себе собольевского уксусника гостем к трапезе, чтобы послушать рассказ о великом чуде. И был у нас в городе такой праздник и такое веселье, что и старожилы такого не запомнят!..

НЕ БЫВАТЬ БЫ СЧАСТЬЮ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО

— Я, кажется, обещал вам рассказать еще про одно чудо, случившееся, представьте себе, с нашим же «праздношатающимся». Про то, как, благодаря «праздношатающемуся», мы избавились от великого несчастья. Если вы хотите послушать этот рассказ, ложитесь, пожалуйста, на этой скамье, а я лягу на той, на этой мне не совсем удобно.

Так обратился ко мне однажды все тот же гайсинский купец, с которым я снова встретился в поезде узкоколейки, получившем здесь название «праздношатающийся». И так как нас было всего два пассажира на весь вагон, мы, с вашего позволения, сняли пиджаки, расстегнули жилеты и расположились, как в своей вотчине. Он на одной скамье, а я на другой. Он рассказывает тихо и медленно, по своему обыкновению, а я внимательно слушаю, запечатлевая в мозгу каждое слово, чтобы иметь потом возможность передать рассказ его же словами.

— Было это во времена конституции, когда

начались «высочайшие милости» для евреев... Хотя у себя в Гайсине мы погрома, должен вам сказать, никогда не боялись... Почему, думаете, не боялись? Просто потому, что у нас некому было бить. Впрочем, если уж очень поискать, то и у нас, представьте себе, можно найти молодчиков, которые были бы не прочь проветрить нас, то-есть, проще говоря, хорошенько помять нам бока. Вот вам доказательство. Как только в наших местах пошли слухи о погромах, происходящих кругом, несколько наших же мерзавцев-помещиков написали под строжайшим секретом куда следует: «Ввиду того, что в Гайсине тоже не грех было бы кое-что организовать, а положиться тут не на кого, покорнейше просим притти нам на помощь и выслать, ради бога, поскорее «людей»...» И представьте себе, не прошло и двадцати четырех часов, как получается телеграмма, тоже под строжайшим секретом, что «люди» высланы. Откуда?—из Жмеринки, из Казатина, Раздельной, Попельной и из других мест, которые отличились своими громилами... Вы спросите: каким образом мы узнали про этот величайший секрет? На такие вещи у нас есть, представьте себе, свой «источник». Ноях Тонконог зовут его. Так как вы часто ездите в наших местах, я вам опишу его — будете знакомы.

Ноях Тонконог — человек, который рос

больше в длину, чем в ширину. Господь его наградил парой длинных ног, и он ими пользуется во-всю. Ни минуты не усидит, никогда его дома не застанешь. У него тысяча дел. Но он больше занимается чужими делами, чем своими. Его собственное занятие заключается в том, что он содержит типографию, единственную типографию в Гайсине. Поэтому он знаком с «начальством», имеет дела с помещиками, связан со всеми чиновниками и знает все их секреты.

Из этого-то «источника» мы и узнали приятную новость. Сам «источник» раструбил ее по всему городу, по секрету, разумеется, шепча каждому на ухо: «я это рассказываю только вам, другому я бы этого не сказал». И таким образом весь город, из конца в конец, узнал, что едут хулиганы, что разработан план, как бить евреев. Известно даже, в какой день и в какой час будут бить, где именно начнут бить, по каким улицам пойдут, все рассчитано, точно в календаре.

В городе поднялся переполох — настоящее светопреставление! И где? Главным образом среди бедняков. Странные люди эти бедняки, право! Если богач боится таких передряг — дело понятное. Он боится, несчастный, как бы он в течение какого-нибудь часа не стал нищим. Но вы, готовые бедняки, чего вы дрожите? Чем вы рискуете? А посмот-

рели бы вы все же, как они бросали на произвол судьбы свои пожитки, хватали жен и детей и спешили спрятаться. Куда прячется, к примеру сказать, еврей? Кто у добропорядочного мужика в погребе, кто у нотариуса на чердаке, кто у директора на заводе. Всякий находит своего знакомого. Только я один, уверяю вас, и не думал прятаться. Не думайте, что я хочу похвастаться перед вами. Вот я объясню вам толком, и вы сами убедитесь, что я не совсем уже неправ. Во-первых, скажите мне, пожалуйста, почему нужно бояться погрома? Все равно. Одно из двух... Во-вторых, допустим, что я, пожалуй, тоже не стал бы артачиться в горячую минуту и, возможно, тоже спрятался бы. Но чем я, купец, гарантирован, скажем, что этот самый мужик, нотариус или директор завода во время самой тревоги... Вы понимаете?.. И кроме всего прочего, как можно оставить целый город на произвол судьбы? Бежать — не трудно. Надо постараться что-либо предпринять. Но что могут, с позволения сказать, предпринять евреи? К начальству!.. У вас в городе, верно, тоже есть один какой-нибудь человек, который пользуется уважением начальства? У нас в Гайсине имеется такой. Зовут его Нахмен Косой. Он — подрядчик, у него круглая борода, бархатный жилет, собственный дом. Как подрядчик, имеющий долю в

постройке шоссе, он вхож к исправнику. Они часто пьют чай за одним столом. А исправник у нас тогда был, должен я вам сказать, хороший человек. Золотой человек! Почему? Не отказывался от рубля. Но брал он только у Нахмена. Собственно, брал-то он у всякого. Отчего не брать? Но у Нахмена он брал всегда охотнее. Все-таки подрядчик...

Короче говоря, повидались мы с Нахменом, составили раскладку, и появились денежки, и, должен вам сказать, кругленькая сумма. Потому что, как же можно в такое время явиться к барину и не сунуть ему в руку так, чтобы ему пальцы обожгло? Само собою понятно, что барин нас тотчас же успокоил. Он нам определенно сказал, что мы можем спокойно спать, ничего не будет... Хорошо, казалось бы?.. Но у нас же есть «источник», для которого все сокровенные тайны открыты. И вот пустил этот самый Ноях Тонконог слух по городу, рассказывая, конечно, каждому в отдельности по секрету, что от теплой компании получилась телеграмма. Божится, что он сам, собственными своими глазами, видел ее. А в телеграмме только одно слово: «Едем». Неприятное слово! Снова бросились, конечно, к исправнику: «Барин, плохо наше дело!» «Чем плохо?» — спрашивает он. «Телеграмма, говорим, получена». «Откуда?» — спрашивает. «Из тех самых мест», — говорим... «Что же сказано

в телеграмме?» «Едем!...» — говорим. Исправник рассмеялся и говорит: «Вы — дураки. Я еще вчера вытребовал сотню казаков из Тульчина». Услыхав про казаков, мы ожили. Когда есть казаки, еврей чувствует себя мужественным и готов всему миру кукиш показать. Шутка ли, такая охрана!.. Весь вопрос только в том, кто из них раньше явится: казаки из Тульчина или громилы из Жмеринки? Логика подсказывала, что громилы придут раньше, потому что они едут поездом, а казаки на лошадях. Но у нас вся надежда была на «праздношатающегося». Может же всевышний сотворить такое чудо, чтобы «праздношатающийся» опоздал на несколько часов! Случай самый обыкновенный, чуть ли не каждый день бывает. Но представьте себе, что на этот раз чуда с ним не случилось. Как на зло, он сегодня мчался со станции на станцию точно по часам. Вообразите, сколько здоровья нам это стоило и какой трепет охватил город, когда мы проведали — из «источника», понятню, — что получилась телеграмма с последней станции, из Криштоповки: «Едем». И не одно только «едем», но еще «ура!» прибавлено... Известие это сейчас же, конечно, было передано исправнику. Ему кланялись в ноги, умоляли не полагаться на казаков, которые бог знает, когда еще придут из Тульчина, а выслать к станции полицию, хотя бы для вида. Пусть те хоть не подума-

ют, что тут на них и суда не найдется, что им все с рук сойдет... Исправник на сей раз не заставил себя долго просить. Он удовлетворил просьбу горожан, да еще с избытком. А именно: оделся в полную парадную форму и при всех орденах самолично отправился вместе со всей полицией на вокзал встречать поезд.

Но те мерзавцы-помещики, с своей стороны, тоже не дремали. Они тоже нарядились в парадные формы и ордена, захватили с собою двух священников и тоже вышли встречать поезд. Исправник их было спросил: «Зачем пожаловали?» Но они в свою очередь задали ему тот же вопрос: «А вы — зачем пожаловали?» Слово за слово, — исправник намекнул им, что их труды напрасны. Покамест, мол, он здесь исправник — в Гайсине погрома не будет. Так он им и сказал. Но они с насмешкой выслушали его и дерзко заявили: «Это мы сейчас увидим...» И только успели сказать, как вдали раздался гудок паровоза. От этого гудка у нас всех кровь в жилах застыла. Ждали, что вслед за этим гудком раздастся свист и крики «ура». А что следует за таким «ура», об этом мы знали уже по опыту других городов. Но что за оказия! Гудок был, а свиста за ним не последовало, и криков «ура» мы тоже не дождалась. Что же случилось? Произошла очень занятная история, такая история, что случить-

ся она могла только с «праздношатающимся». Вот послушайте.

Подъехав к станции, машинист остановил паровоз, спокойно слез и развалистой походкой направился, по своему обыкновению, к буфету. Его останавливают: «Где, паренек, вагоны?» «Какие вагоны?» «Разве ты не видишь, что ты приехал только с паровозом без единого вагона?» Машинист смотрит на них в упор и хладнокровно отвечает: «Вагоны меня не касаются. Это дело бригады». «А где же бригада?» Машинист снова спокойно отвечает: «А мне-то до этого какое дело? Главный кондуктор дает мне свисток — значит, он готов. Я ему отвечаю свистком, что я тоже готов, и пускаю машину в ход. Второй пары глаз на затылке у меня нет. Как я могу видеть, что позади меня делается?..» Так ответил машинист, по его словам выходило, что он совершенно прав. Однако, прав ли он, или неправ, но дело все же ясно: «праздношатающийся» есть, а пассажиров нет. Свадьба, как говорится, без жениха...

Как потом оказалось, к нам ездил, можно сказать, весьма и весьма веселая компания, отборные молодчики, один в один, с полным набором инструментов: с дубинками, резинками и всякой всячины. Были они все навеселе, водки и до этого выпили порядком, а на последней станции, от радости великой, решили

пропустить еще по «одной». Сами наклюкались и бригаду напоили. И сцепщика с жандармом тоже угостили. И под хмельком забыли один пустячок: прицепить вагоны к паровозу. Паровоз ушел себе в Гайсин в положенное время, а вагоны остались отдыхать в Криштоповке. И что удивительнее всего! Ни «бригада», ни веселая компания не заметили, что они стоят на одном месте. Они, не переставая, опорожняли бутылку за бутылкой. Наконец, начальник станции спохватился, что паровоз ушел, а вагоны стоят, и поднял тревогу. Тут только обнаружилась вся ошибка, и пошла такая перепалка, что и не описать! Компания ругала «бригаду», «бригада» — компанию. Кричали, орали. Наконец, порешили, что нужно взять ноги в охапку, а зенки в зубы и двинуть в Гайсин пешком. Что еще им оставалось делать? Так и сделали: набрались духу и зашагали по шпалам, и пришли, конечно, честь-честью в Гайсин. Было, разумеется, и пение, и «ура», все как полагается, но что же? Оказалось, что они чуточку опоздали. По улицам уже разъезжали казаки из Тульчина, верхом на лошадях, в полном «вооружении», то-есть с плетками в руках. От всей компании хулиганов в каких-нибудь полчаса и помину не осталось. Разбежались, как крысы во время голода, растаяли, как снег на солнце...

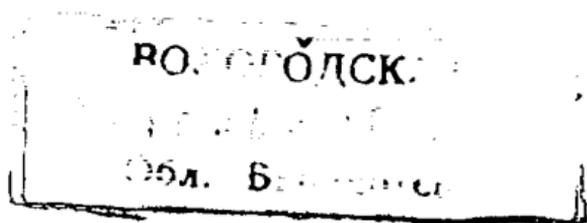
Ну, скажите сами: разве не следует озолс-

тить его, вашего «праздношатающегося», как говорится, с ног до головы, или же, по крайней мере, увековечить его память специальным описанием?

ВОЛОГОДСКАЯ
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Обл. Библиотека

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
К читателям. Перев. Б. Маршака	3
Гимназия. Перев. М. А. Шамбадала	5
Принят. Перев. М. А. Шамбадала	27
Самый счастливый человек в Кодне. Перев. Б. Маршака	33
«Праздношатающийся». Перев. Б. Маршака	48
Чудо в Соболевке. Перев. Б. Маршака	53
Не бывает бы счастьем, да несчастье помогло. Перев. Б. Маршака	69



Редактор перевода *А. Котик.*

Подписано к печати 27/III—42 г. 2,5 печ. л. 2,6 уч.-изд.
лист. Л30040. Тираж 50000 экз. Заказ № 522.

Цена 75 коп.

Набрано в 17-й ф-ке национальной книги Огиза РСФСР
треста «Полиграфкнига». Москва, Шлюзовая наб., 10
Отпечатано в 6-й типографии Огиза. Москва, 1-й Са-
мотечный пер., 17. Зак. 311

17
Цена 75 коп.

17

23